



## АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН

Россия в 1839 году

<Фрагмент>

### ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

<...> Беседуя таким образом<sup>1</sup>, мы дошли до Марсова поля, обширной равнины, с виду пустынной, хоть она и расположена в самом центре города; но размеры ее таковы, что люди на ней теряются — приближение их заметно издалека, и потому разговаривать здесь можно в большей безопасности, нежели в собственной комнате. Мой чичероне<sup>2</sup> продолжает рассказ:

- Пушкин, как вы знаете, был величайший поэт России.
- Не нам о том судить.

Русский человек меньше любого другого страдает от такой перемены благодаря однообразию природы в его стране и простоте своих привычек; я показал это в другом месте.

- Мы можем судить об этом хотя бы по его славе.

— Его стиль очень хвалят, но для человека, родившегося в стране непросвещенной, хоть и в эпоху утонченно цивилизованную, это заслуга небольшая: он может подбирать те чувства и идеи, что в ходу у соседних наций, и выглядеть оригинальным у себя на родине. Язык целиком в его власти, ибо совсем еще нов; и чтобы превратиться в историческую фигуру для невежественной нации, живущей в окружении наций просвещенных, поэту достаточно попросту переводить, не мудрствуя лукаво. Он будет подражателем, а прослышет творцом.

— Заслуженна была его слава или нет, но он был знаменит. Он был еще молод и нрав имел гневливый — как вам известно, в жилах его текла унаследованная от матери мавританская кровь. Жена его, большая красавица, внушала ему более страсти, неже-

ли доверия; обладая поэтической душой и африканским нравом, он был склонен к ревности; несчастный впадает в раздражение от мнимой неверности, от ложных, пропитанных ядом доносов, коварством своим напоминающих завязку шекспировской трагедии; русский Отелло теряет всякое чувство меры и хочет заставить человека, который, как он полагает, его оскорбил, драться на дуэли, Человек этот был француз, к тому же его свояк; имя его г-н Дантес.

Дуэль в России — дело тем более серьезное, что здесь, в отличие от нашей страны, она не согласуется с общественными нравами, противостоящими закону, и задевает устойчивые представления о морали; эта нация скорее восточная, нежели рыцарская. Дуэль здесь незаконна, как и повсюду, но ей труднее, чем где бы то ни было, опираться на общественное мнение.

Г-н Дантес сделал все возможное, чтобы избежать огласки; под натиском разгневанного супруга он, не теряя достоинства, отказывается дать ему удовлетворение, но не прекращает ухаживаний. Пушкин почти лишается рассудка: неизбежное присутствие в его доме человека, чьей гибели он хочет, кажется ему постоянной жестокой обидой; он идет на все, лишь бы выгнать его; в конце концов дуэль становится неизбежной. И вот свояки стреляются, г-н Дантес убивает Пушкина; человек, виновный в глазах общественного мнения, выходит победителем, а человек невинный, оскорбленный муж, национальный поэт — гибнет.

Смерть его наделала в обществе много шума и вызвала всеобщую печаль. Пушкин, поэт в высшей степени русский, творец прекраснейших од на русском языке, гордость страны, создатель новой славянской поэзии, первый здешний талант, чье имя отозвалось, и довольно громко, в Европе... в Европе!!! наконец, слава настоящего и надежда будущего — и вот все это погибло; идол низвергнут в собственном храме, пал в расцвете сил от руки француза... Какая ненависть, какие страсти тут закипают! Петербург, Москва, вся империя пришла в волнение; ведь всеобщий траур есть свидетельство заслуг покойного и доказательство величия страны, которая может бросить Европе: «У меня был свой поэт!! и для меня честь оплакивать его!»

Император, лучше всех в России знающий русских и лучший знаток по части чести, являет осмотрительность и отдает дань общественной скорби; он велит отслужить панихиду<sup>3</sup>; не знаю, не простерлось ли его благочестивое кокетство даже до того, чтобы лично присутствовать на сей церемонии, дабы все видели его сожаление и сам Господь был свидетелем преклонения его перед

национальным гением, прежде времени разлученным со своей славой.

Как бы там ни было, но сочувствие, явленное государем, настолько льстит московскому духу, что пробуждает в сердце одного весьма одаренного юноши благородное чувство патриотизма<sup>4</sup>; сей излишне легковерный поэт, видя августейшее покровительство, оказанное первому из искусств, исполняется энтузиазма — и вот уже дерзновенно полагает, будто его посетило откровение свыше! В порыве простодушной благодарности он осмеливается даже написать оду — какова дерзость! — патриотическую оду с изъявлением признательности императору — покровителю словесности! В конце этого замечательного стихотворения он возносит хвалы усопшему поэту — ничего больше... Я читал эти стихи и могу поручиться, что намерения автора были самые невинные; разве что вы сочтете преступлением надежду, которая затаилась в глубине его сердца и которая, по-моему, вполне позволительна юному воображению. На мой взгляд, он, не говоря этого прямо, полагал, что, быть может, однажды Пушкин воскреснет в нем, и сын императора вознаградит второго поэта России, подобно тому как сам император воздал почести первому... Безрассудный храбрец! — жаждать известности, открыто признаваться в желании славы при деспотизме! как если бы Прометей заявил Юпитеру: «Берегись, защищайся, скоро я похищу у тебя небесный огонь». И вот каково было вознаграждение, полученное юным искателем торжества — иными словами, мученичества. Несчастный за одно только то, что без зазрения совести принял на веру показную любовь самодержца к изящным искусствам и словесности, впал в особую немилость и получил тайный приказ отправляться для развития своих поэтических дарований на Кавказ — ту же Сибирь, только с чуть более мягким климатом.

Он пробыл там два года и возвратился с подорванным здоровьем, сломленной душой и воображением, решительно исцелившимся от былых грез — исцелившимся прежде тела, которое пока еще страдает от подхваченных в Грузии лихорадок. И после такого поступка вы по-прежнему будете доверять официальным речам императора и его публичным действиям?

Вот что примерно отвечал я на слова соотечественника:

— Император тоже человек, он тоже не лишен человеческих слабостей. Наверное, что-то неприятно поразило его в направлении мыслей вашего юного поэта. Не сомневайтесь, мысли эти были скорее европейскими, нежели национальными. Император ведет себя прямо противоположно тому, как поступала Екате-

рина II: он не льстит Европе, а дерзит ей; согласен, это ошибка, ибо вызывающее поведение — та же зависимость, с его помощью можно утвердить себя лишь через противоречие; но это ошибка простительная, тем более если вы припомните, какое зло причинили России государи, всю жизнь одержимые манией подражательства.

— Вы неисправимы! — воскликнул адвокат последних бояр. — Вы тоже верите, что можно создать какую-то особенную цивилизацию на русский манер. Все это было хорошо до Петра I, но сей государь уничтожил плод в зародыше. Езжайте в Москву, она самая сердцевина старинной империи, но вы увидите, что и там все умы обращаются к размышлениям о промышленности и национальный характер сохраняется не больше, чем в Санкт-Петербурге. Ныне император Николай совершает ошибку, похожую на ошибку императора Петра I, только в обратном смысле. Он ни во что не ставит историю целого столетия, века Петра Великого; у истории свои непреложные законы, и прошлое повсюду оказывает влияние на настоящее. Беда государю, который не желает этим законам подчиняться!

Час был довольно поздний; мы распрощались, и я продолжал прогулку в одиночестве, размышляя о том, какое энергичное чувство сопротивления должно зреть в душах людей, живущих при деспотическом режиме и привыкших ни с кем не делиться своими думами. Когда подобный способ правления не притупляет характеры, он их укрепляет.

Я вернулся домой, чтобы продолжить письмо к вам; я занимаюсь этим почти каждый день, и все же пройдет еще немало времени, прежде чем вы получите мои послания, ведь я их прячу, словно планы какого-нибудь заговора, в ожидании надежного человека, который бы вам их передал; но найти такую оказию — дело столь трудное, что, боюсь, придется везти их самому.

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

30 июля 1839 года.

Вчера, окончив писать, решил я перечитать переводы некоторых стихотворений Пушкина и утвердился в том своем мнении о нем, какое составилось у меня по первому чтению. Человек этот отчасти заимствовал свои краски у новой западноевропейской школы в поэзии. Не то чтобы он воспринял антирелигиозные воззрения лорда Байрона, общественные идеи наших поэтов или философию поэтов немецких, но он взял у них манеру описания

вещей. Так что подлинно московским поэтом я его еще не считаю. Поляк Мицкевич представляется мне гораздо более славянином, хоть и он, подобно Пушкину, испытал влияние западных литератур.

К тому же, появившись нынче подлинно московский поэт, он бы мог обращаться только к народу: в салонах его бы не услышали и читать не стали. Там, где нет языка, нет и поэзии, и тем более нет мыслителей. Сейчас все потешаются над тем, что император Николай требует при дворе говорить по-русски; новшество сие кажется прихотью самодержца; грядущее поколение скажет ему спасибо за эту победу здравого смысла над высшим светом.

Как может проявиться дух естественности в обществе, где говорят на четырех языках, не выучив толком ни одного? Неповторимость мысли гораздо тесней, нежели полагают, связана со своеобразием речи. Как раз об этом столетие назад позабыли в России, а несколько лет назад и во Франции. На детях наших еще отзовется то маниакальное пристрастие к боннам-англичанкам, какое овладело у нас всеми фешенебельными матерями.  
<...>

